Асмодей Денница

Поправка на дрейф



Асмодей Денница

Поправка на дрейф

«Автор»
2026

Денница А.

Поправка на дрейф / А. Денница — «Автор», 2026

Вселенная не стоит на месте. Она едет — прямо сейчас, вместе с вашим прошлым, вашими воспоминаниями и вашим дедом. Именно поэтому ограбить пирамиду невозможно: пока вы целитесь, пирамида уже уехала.Кирилл Тюрин — младший научный сотрудник, человек с секундомером и третьим авторством в чужих статьях. Он умеет одно: считать, насколько врёт прибор. Этого хватает на зарплату, которой не хватает, и на кота по кличке Гейзенберг, который обнаруживается не там, где его ищут.Всё меняется, когда дедовские часы «Восток» приводят его в ломбард «Хронос», а оттуда — в подвал, где человек с кандидатской по истории искусств по имени Дон предлагает простую бизнес-идею: наладить поставки из древности. Золото Египта, бронза Европы, янтарь Балтики — «там ещё всё целое, и по-партнёрски»....Остроумная, злая и очень смешная повесть о том, что время — не деньги, а деньги — не время: это две разные ошибки измерения.

© Денница А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Девятнадцать веков влево 5
Глава 1. Третий автор 13
Глава 2. Кот, который не там 21
Глава 3. Ломбард «Хронос» 30
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Асмодей Денница
Поправка на дрейф

Пролог. Девятнадцать веков влево

— Слушайте, — сказал Дон, — а почему нельзя просто в Египет?

Он спросил это в четыре часа двенадцать минут утра, в подвале ломбарда на улице Правды, когда над нами гудел «Хронометр» — агрегат весом в четыреста килограммов, собранный из списанного лабораторного хлама, трёх холодильных компрессоров и одного бронзового канделябра, назначение которого в схеме я до сих пор объяснить не могу. В подвале пахло озоном, машинным маслом и шашлыком. Шашлык был ни при чём: просто вентиляция в этом доме соединяла подвал с квартирой на четвёртом этаже, где жил человек, считавший, что ночь создана для мяса.

Я сидел на перевёрнутом ящике из-под болгарского вина и держал в руках секундомер. Секундомер был единственным предметом в этом помещении, которому я доверял. Он тоже врал, но честно: по паспорту — плюс-минус три тысячных секунды в сутки, и он эти три тысячных мне отдавал, как порядочный должник.

— В Египет можно, — сказал я. — Просто вы не попадёте в тот Египет, в который целились.

— А в какой попаду? — спросил Дон с искренним интересом человека, который платит за экскурсию и хочет знать маршрут.

— В какой-нибудь.

Феликс, стоявший у щитка с гаечным ключом наперевес, хмыкнул. Феликс был единственным в этой компании, кто понимал, о чём я говорю, и это пугало меня больше всего.

— Объясни ещё раз, — сказал Дон. — Только медленно. И без формул.

Я вздохнул. За предыдущие две недели я объяснял это пять раз: Дону, Феликсу, Виолетте Марковне, Гоше со Славиком и однажды — участковому, который зашёл на шум и ушёл с брошюрой «Что такое время».

— Хорошо, — сказал я. — Представьте эскалатор в метро.

— Представил.

— Вы стоите на ступеньке. Ступенька едет. Вы хотите вернуться на ту ступеньку, где стояли минуту назад.

— Ну.

— Её там нет. Она уехала. Она внизу. А если это эскалатор, который едет вверх, — она наверху. Но главное: она уехала, и вы не можете шагнуть туда, где она была, потому что там теперь другая ступенька. Похожая. Не та.

Дон помолчал. В гуле «Хронометра» появилась та характерная нота, которую я не любил: агрегат начинал думать. Агрегаты не должны думать. Агрегаты должны гудеть ровно и не высказывать мнений.

— То есть вселенная едет, — сказал Дон.

— Вселенная едет.

— Куда?

— Во времени.

— А разве время — это не то, по чему она едет?

Вот за это я его и уважал. Дон не знал физики, но у него был слух на глупости, а физика, если её плохо объяснить, состоит из глупостей процентов на восемьдесят.

— Время — это дорога, — сказал я. — Но дорога тоже едет. Не спрашивайте куда. Никто не знает куда. Мы знаем только, что она едет, и что едет неровно: где-то быстрее, где-то медленнее, где-то её ведёт вбок. Это называется дрейф. И если вы хотите попасть в точку, вам надо не просто задать координату. Вам надо вычислить, насколько эта координата уже уехала. Поправка на дрейф. Вот и всё.

— И сколько она?

— В том и беда, что неизвестно.

Дон посмотрел на меня так, как смотрят на повара, который признался, что не знает, сколько соли сыпать.

— А за что я тогда плачу?

— За то, что мы это выясняем, — сказал я. — Наука, Артур Суренович. Процесс.

Он кивнул. Дон уважал процесс. У него в ломбарде висела табличка «Оценка — бесплатно, ожидание — по тарифу», и он искренне считал, что это и есть научный метод.

Меня зовут Кирилл Анатольевич Тюрин. Мне тридцать один год, я кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник лаборатории хронометрии НИИ точного времени, и я — человек с секундомером.

Это не метафора. В институте, где я работаю, есть теория. Её делают теоретики: они пишут статьи, ездят на конференции, получают гранты и объясняют друг другу, как устроено время. И есть метрология — искусство измерять. Ею занимаются люди вроде меня: мы приходим, когда теоретики уже всё объяснили, и тихо спрашиваем: «А вы уверены?» После чего три месяца поверяем, сверяем, пересчитываем и обнаруживаем, что теоретики были уверены зря.

За это нас не любят. За это нас указывают третьими авторами.

Третий автор — это особая должность. Первый автор придумал. Второй автор написал. Третий автор сделал всё остальное: свёл таблицы, нашёл опечатку в размерности, объяснил первому автору, почему его гениальная идея не работает, и промолчал, когда она всё-таки заработала. Третьего автора ставят в конце списка, потому что алфавит, потому что «традиция», потому что «Кирюш, ты же не против». Я не против. Я тридцать один год не против.

Живу я в однокомнатной квартире на Юго-Западной, вместе с котом. Кота зовут Гейзенберг — не потому, что я большой шутник, а потому что он обладает замечательным свойством: когда я его ищу, его нигде нет, а когда я перестаю искать, он оказывается ровно там, где я уже посмотрел. Я пробовал повесить на него бубенчик. Бубенчик звенит из шкафа. Кота в шкафу нет. Это не физика. Это хуже.

Квартира моя выглядит как приложение к лаборатории: на подоконнике — три секундомера разных эпох, на столе — распечатка статьи, которую я не писал, но правил, на холодильнике — магнит с надписью «Не уверен — измерь». Я купил его в музее метрологии. Это единственный музей, где экскурсовод начинает с фразы: «То, что вы сейчас увидите, скорее всего, неточно».

Зарплата у меня — младшего научного сотрудника. Это не сумма, это диагноз. Раз в месяц я делаю вид, что она меня устраивает, и раз в месяц она делает вид, что её хватает.

Лаборатория наша занимает второй этаж корпуса Б — того самого, где на складе написано «не выбрасывать», и надпись эта старше меня. В лаборатории две комнаты, три стола, четыре сотрудника, пять чайников (ни один не работает), и один спор.

Спор длится одиннадцать лет.

Спорящих двое. Первый — академик Аркадий Львович Штерн, заведующий лабораторией, лауреат, орденоносец, человек, который в семьдесят два года ходит так, будто ему шестьдесят, и говорит так, будто ему сто двадцать. Второй — Лев Гурвич, старший научный сотрудник, тридцать восемь лет, свитер с оленями, привычка отвечать вопросом на вопрос и три недописанные монографии в столе, которые он называет «заготовками».

Спорят они о том, о чём спорит вся наша область: о поправке.

Академик Штерн утверждает: дрейф вселенной во времени — явление регулярное, гладкое, в принципе вычислимое. Существует точный коэффициент; надо лишь правильно поставить задачу, и тогда прошлое станет такой же адресуемой величиной, как частота атомного перехода. «Тривиально», — говорит он, и в его устах это не оскорбление, а диагноз: мол, всё, что не тривиально, — просто плохо сформулировано.

Лев Гурвич утверждает обратное: дрейф нелинеен, он флуктуирует, он зависит от того, что в прошлом уже произошло, а прошлое зависит от того, куда мы прыгнули. «Это не эскалатор, — говорит он. — Это пьяная река. И вы предлагаете переплыть её по расписанию».

Они спорят красиво. Я слушал этот спор одиннадцать лет — сначала студентом, потом аспирантом, потом третьим автором — и за это время выучил его наизусть, как литургию. Штерн начинает с Птолемея и заканчивает тем, что Гурвич не читал его статью 2004 года. Гурвич начинает с того, что статью 2004 года читать нечего, и заканчивает тем, что время — не величина, а процесс. В середине они обязательно переходят на личности, но личностями не ограничиваются: у обоих в столе лежат заявки на грант, и в каждой заявке другая поправка.

Одиннадцать лет. Двадцать две статьи. Ноль экспериментов — потому что эксперимент требует денег, а деньги дают тому, кто уже доказал, что прав.

Я в этом споре не участвую. Я в нём живу.

Про часы.

У меня были дедовские часы — «Восток», механика, хром на потёртом ремешке, ходят с погрешностью плюс сорок секунд в сутки. Дед носил их сорок лет и говорил, что точность — это когда ты знаешь, на сколько твои часы врут. Я долго считал это шуткой. Теперь понимаю, что это была единственная физика, которую дед знал, и она была правильнее половины статей в моей папке.

В конце октября мне понадобились деньги. Не на науку — на кота. Гейзенберг съел что-то, что котам есть не положено, и ветеринар назвал сумму, от которой у меня похолодело в области третьего автора. Я перебрал варианты: занять у Гурвича (Гурвич бы дал, но потом напоминал бы об этом в каждой дискуссии), продать секундомер (нет), продать деда часы (нет, но да).

И я пошёл в ломбард.

Ломбард назывался «Хронос» и помещался на улице Правды, в подвале жилого дома, между пунктом приёма стеклотары и магазином «Всё для бани». Вывеска была скромная: «Время — деньги. У нас принимают оба. Оценка бесплатно». Я тогда подумал, что это мило и глупо. Я тогда много чего думал.

За стойкой сидел мужчина в чёрном свитере и с лицом человека, который всю жизнь чинил то, что другие сломали. Это был Феликс. Он посмотрел на часы, потом на меня, потом опять на часы, и сказал:

— Ход сорок секунд.

— Сорок две, — сказал я. — Но в среднем сорок.

— Тепловой дрейф?

— Механика. Пружина.

— Понятно, — сказал Феликс и вдруг спросил: — А вы, простите, не метролог?

Я опешил. В ломбардах меня ещё не опознавали по внешнему виду. По внешнему виду меня опознают как «молодой человек, вы в очереди последний?», не более того.

— Метролог, — сказал я.

Феликс кивнул так, будто я подтвердил пароль.

— Подождите, — сказал он и ушёл в глубину помещения, где за занавеской была дверь, а за дверью — лестница, а за лестницей — то, что я теперь называю подвалом.

Через десять минут из-за занавески вышел человек небольшого роста, в дорогом пальто, с бородкой и глазами коллекционера. Он посмотрел на часы в моей руке, потом на меня, и сказал:

— Хорошая вещь. Не продавайте. Дайте мне их поверить, а я вам — работу.

Так я познакомился с Артуром Суреновичем Багдасаряном, которого все называли Доном, хотя он не был ни итальянцем, ни крёстным отцом в том смысле, который имеют в виду, когда произносят это слово с придыханием. Он был владельцем сети ломбардов, антикваром, человеком с кандидатской диссертацией по истории искусств и очень странными знакомствами. И у него была идея.

Идея была такая: древние цивилизации.

— Смотрите, — говорил он мне потом, в том же подвале, разливая коньяк в лабораторные мензурки, — всё, что сейчас стоит бешеных денег, когда-то стоило копейки. Потому что было новым. А потом его стало мало. Понимаете? Мало. А тогда — много. Тогда этого было полно. Золото в Египте лежало под ногами. Бронза в Европе была валютой. Янтарь на Балтике валялся как стекло.

— И вы хотите…

— Я хочу наладить поставки, — сказал Дон просто. — Не грабёж. Поставки. Культурный обмен. Мы им — технологии, они нам — материал. По-честному. По-партнёрски.

— У них нет денег, — сказал я.

— У них есть золото, — сказал Дон. — Это лучше, чем деньги. Деньги — это обещание. Золото — это факт.

Я тогда не знал, что сказать. Я знал другое: то, что он предлагает, невозможно. Не потому, что незаконно, — об этом я подумал позже, и не потому, что аморально, — об этом я подумал ещё позже, а потому, что физически невозможно попасть в нужную точку прошлого. И я сказал ему это. Прямо. В мензурку.

Дон выслушал. Допил коньяк. И спросил:

— А если подумать?

Вот в этом «а если подумать» и заключалась вся моя дальнейшая биография.

Через три дня Феликс принёс папку.

Папка была толстая, серо-бурая, с надписью «ХРОНО. РАЗНОЕ» и с таким количеством скрепок, что её можно было использовать как холодное оружие. Внутри лежали распечатки. Много распечаток. Три недели работы, если считать по людям, и ни одного дня работы, если считать по смыслу.

— Мы всё изучили, — сказал Феликс и положил папку на лабораторный стол, сдвинув в сторону мои собственные распечатки. — То есть не всё. Но по теме.

— По какой теме?

— По вашей.

Он сел, сложил руки на груди и стал ждать, как ждут студента на экзамене.

Первая распечатка была с форума. Я узнал этот форум: он назывался «Хронофизика для своих» и существовал с две тысячи восьмого года, судя по датам внизу. Там было сорок три страницы. На сорок третьей странице человек с ником ХроноДедуля объяснял, что для успешного перемещения во времени нужно «правильно заземлить контур и не экономить на конденсаторе». Конденсатор был, судя по всему, главным элементом. ХроноДедуля упоминал его в каждом сообщении.

— Это авторитет? — спросил Феликс.

— Это человек, который очень любит конденсаторы.

— А он пишет, что у него получилось.

— Он также пишет, что ему мешают соседи.

Феликс сделал пометку в блокноте. Я не знаю, что он там пометил. Возможно, «соседи».

Вторая распечатка была статьёй с сайта, который назывался «Наука и жизнь» и содержал, кроме статьи, рекламу кроссовок, рекламу кредита и рекламу кроссовок в кредит. Статья называлась «Пять фактов о времени, которые вас удивят». Факт третий гласил: «Время — это иллюзия, но не совсем». Я прочитал это вслух. Дон, сидевший в углу с чашкой чая, кивнул с удовлетворением человека, услышавшего подтверждение своей правоты.

— Вот, — сказал он. — Иллюзия.

— Не совсем иллюзия, — сказал я.

— Мне нравится ход мысли, — сказал Дон. — Не совсем — это как раз наш случай. Мы тоже не совсем.

Третья распечатка была из Википедии. Статья «Машина времени». Первая строчка: «Машина времени — устройство, позволяющее перемещаться во времени». Дон прочитал её дважды.

— Замечательно, — сказал он. — Просто и точно. Никаких вам формул.

— Это тавтология, — сказал я. — Устройство для перемещения во времени — это устройство для перемещения во времени.

— А вы попробуйте сказать это проще, — сказал Дон. — Вот у вас получится, что машина времени — устройство для перемещения во времени. И у них получилось. Значит, они правы.

Спорить с этой логикой было нельзя. Логика была неуязвима, потому что ничего не утверждала.

Четвёртая распечатка была скриншотом видеоролика. На превью человек в подвале показывал пальцем на катушку Теслы и обещал «резонанс». Ролик назывался «ПРОРЫВ! 100% работает, смотрите до конца». Я посмотрел до конца. В конце человек извинялся и говорил, что катушка сгорела, но «механизм верный».

— Вот это мне нравится, — сказал Феликс. — Механизм верный. Значит, надо просто сделать нормально.

— Он сгорел, — сказал я.

— Он неправильно сделал.

— Он сделал неправильно, потому что невозможно.

— Или потому что неправильно, — сказал Феликс, и в его голосе была та железная уверенность, которая позволяет людям чинить холодильники тридцать лет и не сходить с ума.

Пятая распечатка была объявлением с «Авито». Там продавали «хронорезонатор, рабочий, б/у, причина продажи — переезд». Дон купил его за четыре тысячи. Хронорезонатор прибыл в коробке из-под микроволновки, весил килограмм и оказался, по моей оценке, деталью от старого ксерокса.

— Это печка, — сказал я.

— Это деталь, — сказал Феликс. — В схему пойдёт.

Он пошёл в схему. С тех пор он там и стоит — справа от бронзового канделябра, между двумя компрессорами. Я до сих пор не знаю, что он делает. Я подозреваю, что он не делает ничего, но в нужный момент создаёт видимость работы, а это, если честно, ровно то, что делает половина моих коллег.

Отдельно была Виолетта Марковна.

Виолетта Марковна появилась на второй неделе, в брючном костюме цвета мокрого асфальта, с папкой, в которой лежал типовой договор на оказание услуг. Она села, поправила очки и сказала:

— Я посмотрела вашу схему. Мне нужно понимать, кто собственник.

— Чего? — спросил я.

— Эпохи, — сказала Виолетта Марковна.

Мы все замолчали. В подвале было слышно, как наверху, на четвёртом этаже, кто-то переворачивает шашлык.

— Понимаете, — сказала она, — если мы берём предмет в прошлом, юристы спросят: у кого мы его взяли и на каком основании. Если предмет на тот момент ничей, он, по общему правилу, ничей. Тогда мы его законно присваиваем. Это называется «обращение в собственность общедоступных для сбора вещей». Если же у предмета есть владелец, мы обязаны либо купить, либо получить в дар, либо — я не рекомендую — изъять. С изъятием в бронзовом веке есть сложности: там нет следственных органов, а значит, некому зафиксировать состав.

Дон слушал её с тем же лицом, с каким слушал меня. У него было лицо человека, который коллекционирует не вещи, а объяснения.

— А форс-мажор? — спросил он.

— Форс-мажор я прописала, — сказала Виолетта Марковна. — Падение Рима. Эпидемия. Извержение. Приход варваров. Всё, что не зависит от сторон.

— А если мы сами станем причиной?

Виолетта Марковна подняла на него глаза.

— Тогда это уже не форс-мажор, Артур Суренович. Тогда это наша вина, и её надо страховать отдельно.

Она ушла, оставив на столе договор на четырнадцати страницах. В договоре стороны определялись как «Заказчик» и «Исполнитель», а предмет — как «оказание услуг по организации доступа к историческим периодам». В приложении номер два был список периодов. В приложении номер три — список того, что в этих периодах нельзя трогать. Третье приложение было длиннее второго, и это, пожалуй, единственное, что меня в ту неделю обрадовало.

Сейчас, когда я пишу эти строки, «Хронометр» стоит в подвале и гудит. Дон ходит вокруг него, как вокруг нового автомобиля. Феликс проверяет ремни. Гоша со Славиком спорят, брать ли с собой скотч — Гоша говорит, что скотч нужен всегда, Славик говорит, что в бронзовом веке скотча не оценят. Виолетта Марковна составляет договор, в котором фигурируют стороны, которых ещё нет, и эпохи, которые уже кончились.

А я сижу на ящике из-под болгарского вина и понимаю, что через час мы включим эту штуку.

Я расскажу всё по порядку. Начну с кота — потому что с кота начинается любая точная наука: сначала ты ищешь то, чего нет, потом находишь то, что не искал, а потом пишешь об этом статью и ставишь себя третьим автором.

Сноска для тех, кто любит физику. Вселенная, в которой мы живём, не просто расширяется — она смещается во времени. Это не метафора и не поэзия; это измеренный факт — измеренный, правда, с точностью, которой хватает, чтобы утверждать факт, и не хватает, чтобы им пользоваться. Прошлое не лежит на полке. Прошлое едет. Мы это знаем. Мы даже знаем, в какую сторону. Мы не знаем только, с какой скоростью — и это единственное, что имеет значение, когда ты собрался в гости к фараону.

Сноска для тех, кто не любит физику. Всё вышесказанное означает: если вы целитесь в пирамиду, вы попадёте в пирамиду, но не в ту. И, скорее всего, не в пирамиду.

Была ещё одна деталь, о которой я тогда не думал.

В ту ночь, в подвале, когда Дон спросил «а почему нельзя просто в Египет», я ответил ему про эскалатор. Он кивнул и сказал:

— Значит, нужна поправка.

— Нужна, — сказал я.

— И кто её знает?

Я хотел сказать «никто». Я хотел сказать, что это открытая задача, что за неё брались лучшие, что Штерн считает её тривиальной, а Гурвич — неразрешимой, и что между этими двумя утверждениями лежит вся моя карьера.

Но я посмотрел на секундомер в своей руке — на маленький чёрный прибор, который врал ровно на три тысячных в сутки и никогда не врал насчёт того, что врёт, — и сказал другое:

— Её знает тот, кто умеет считать ошибку.

Дон улыбнулся. У него была улыбка человека, который только что нашёл в куче хлама вещь, за которую можно взять дорого.

— Вот и хорошо, — сказал он. — Вот и считайте.

С этого всё и началось. С часов, кота и одной фразы, которую я до сих пор считаю самой безответственной в своей жизни.

Впрочем, нет. Самая безответственная была потом, когда я сказал: «Кажется, получилось».

Отдельная история — участковый.

Он пришёл на третью неделю, в четверг, по жалобе жильца со второго этажа. Жилец утверждал, что из подвала идёт гул, а по ночам — «свет и голоса на непонятном языке». Голоса на непонятном языке были мной и Гурвичем: мы обсуждали размерность коэффициента, а Гурвич в такие моменты переходит на смесь русского, идиша и формул, которую понимают человек пять в мире, и все пятеро сейчас были не в подвале.

Участковый был молодой, вежливый и усталый. Он спустился, посмотрел на «Хронометр», на компрессоры, на бронзовый канделябрь, на Гошу со Славиком, которые в тот момент красили что-то серебрянкой, и сказал:

— А что это?

— Прибор, — сказал я.

— Какой?

Я мог сказать «машина времени». Я представил, как это звучит в протоколе, и понял, что после этого мне придётся объяснять ещё и участковому, и его начальству, и, возможно, врачу.

— Метрологический, — сказал я. — Поверочный стенд.

— А гудит почему?

— Работает.

— А голоса?

— Обсуждаем погрешность.

Участковый посмотрел на меня долгим взглядом человека, который видел в своей жизни много подвалов и ни одного поверочного стенда.

— Погрешность — это которая в паспорте? — спросил он.

— Которая в паспорте.

— Понятно, — сказал он и достал блокнот. — А акт есть?

Акта не было. Был договор Виолетты Марковны на четырнадцати страницах, в котором стороны обязывались соблюдать законодательство, но не уточнялось, какое — потому что не уточнялось, в каком веке.

Участковый вздохнул, убрал блокнот и сказал фразу, которую я запомнил лучше, чем половину статей в своей папке:

— Вы бы хоть табличку повесили. «Идёт поверка». Люди же волнуются.

Я повесил. Табличка висит до сих пор, между щитком и вешалкой, и на ней написано: «Идёт поверка. Не стойте в контуре». Я иногда думаю, что это самая честная надпись во всём здании: у нас действительно всё время что-то поверяется, и мы действительно всё время стоим не там.

Участковый ушёл с брошюрой «Что такое время» — я дал ему свою, из тех, что печатают для школьников, с картинкой песочных часов на обложке. Через месяц он вернулся. Не по жалобе. Просто спросил, можно ли посмотреть ещё раз, потому что «у вас тут интересно». Я пустил. Он постоял, послушал гул, попросил объяснить, что такое дрейф, и, дослушав, сказал:

— То есть вы хотите сказать, что мы всё время едем, а я думал, что стою на месте.

— Именно.

— Ага, — сказал он. — Тогда понятно, почему у меня отпуск не сходится.

Он был единственным человеком за всю историю проекта, который отнёсся к нам совершенно серьёзно. Это, если подумать, многое объясняет в том, как устроена наша страна: единственный, кто поверил в машину времени, был участковый, и он же единственный попросил предъявить акт.

Глава 1. Третий автор

«Быть третьим автором — как быть третьим в браке: формально участвуешь, фактически моешь посуду». — К. А. Тюрин, «Заметки на полях чужих статей», 2019

В институт я пришёл в восемь сорок, потому что в восемь сорок пять Зинаида Павловна закрывала проходную на пересменку, а Зинаида Павловна была единственным человеком в здании, чьи часы шли точно — я проверял, и не раз, и с секундомером.

— Тюрин, — сказала она, не поднимая глаз от кроссворда. — Опять со своими?

— С дедовыми, — сказал я. — Свои встали.

— Так почини.

— Я метролог, Зинаида Павловна. Я не чиню. Я измеряю.

— Вот и измеряй, — сказала она, — а людей не путай. У тебя часы на семь минут вперёд.

— На шесть сорок две, — сказал я, потому что не мог иначе. — Но по среднесуточному ходу...

— Тюрин, — сказала Зинаида Павловна. — Иди.

Я пошёл.

Сноска о проходной. В любом научном институте есть три контура времени: официальный (по которому идут заседания), фактический (по которому идут сотрудники) и Зинаидин. Последний — единственный, который совпадает с мировым. Это, если задуматься, довольно обидно для науки: эталон у нас в подвале, а истина — на вахте.

Коридор второго этажа корпуса Б был длинный, как сомнение. Линолеум в нём помнил ещё те времена, когда слово «грант» означало не деньги, а надежду. На стенах висели портреты: четыре основателя института, три министра, один космонавт и одна фотография коллектива тысяча девятьсот семьдесят четвёртого года, на которой было сорок человек, и все они смотрели в объектив с тем выражением, с каким смотрят люди, уверенные, что будущее уже наступило и им за него доплатят.

Доска объявлений у лестницы была заклеена слоями. Сверху — приказ о пожарной безопасности. Под ним — приказ о противодействии коррупции. Под ним — объявление о продаже щенков, написанное от руки, с орфографическими ошибками, которые я каждый раз читал как поэму. Ещё ниже, в самом низу, где-то на глубине четырёх слоёв, висел мой собственный листок: «Продам секундомер. Недорого». Листок висел два года. Секундомер я так и не продал, но и листок снять было уже нельзя — он стал частью архитектуры.

В лабораторию я вошёл без стука. Стучать в лабораторию, где работают трое и один из них — ты, — это как звонить в собственную квартиру.

— О, — сказал Гурвич, не оборачиваясь. — Явился третий.

Он сидел за столом, пил чай из мензурки на двести миллилитров и правил статью. Статья была на экране, ноутбук был старый, экран — с вертикальной полосой, и полоса шла ровно по середине текста, как будто кто-то провёл по статье границу между тем, что стоит читать, и тем, что не стоит.

— Двадцать третья? — спросил я.

— Двадцать третья, — сказал Гурвич. — Садись, будешь третьим.

Я сел. У меня было своё место — у окна, с видом на трансформаторную будку, — и на столе лежала моя папка: триста страниц распечаток, сводных таблиц и заметок, которые не войдут ни в одну статью, потому что статьи пишутся не про то, что получилось, а про то, что получилось красиво.

— Что на этот раз? — спросил я.

— Дрейф, — сказал Гурвич. — Я нашёл, как его обойти.

— Обойти?

— Не обойти. — Он поморщился, как от чая, который остыл. — Учесть. Я нашёл способ учесть нелинейность. Если не считать её хаосом, а считать флуктуацией с памятью.

— С памятью?

— С памятью, — сказал Гурвич. — Прошлое помнит, каким оно было. От этого зависит, насколько оно уехало.

Я помолчал. Формулировка была красивая. Красивые формулировки — это отдельный вид наркотика, и Гурвич сидел на нём плотно.

— А это проверяемо? — спросил я.

Гурвич посмотрел на меня поверх мензурки.

— Кирюша, — сказал он ласково. — Ты в этом институте одиннадцать лет. Когда ты в последний раз видел, чтобы здесь что-то проверяли?

Сноска о том, как устроена наука. Наука устроена очень просто: есть люди, которые придумывают, есть люди, которые считают, и есть люди, которые мешают. Первые получают гранты, вторые получают зарплату, третьи получают опыт. Иногда все три категории совпадают в одном человеке, и тогда он становится заведующим.

К одиннадцати пришёл Штерн.

Он приходил в одиннадцать, и это было не расписанием, а позицией: академик, приходящий в одиннадцать, сообщает миру, что он уже сделал главное — подумал, — а остальное пусть делают те, кто приходит в восемь сорок.

— Доброе утро, — сказал он и посмотрел на доску, где мелом было написано уравнение. Уравнение было написано мной в прошлый вторник, чтобы не забыть, и стояло нетронутым, потому что никто не понял, к чему оно.

— Кирюша, — сказал Штерн. — Это что?

— Это то, о чём я говорил на семинаре.

— А, — сказал Штерн. — Тривиально.

Он снял пальто, повесил его на спинку стула так, что пальто стало похоже на человека, который устал ждать, и сел.

— Аркадий Львович, — сказал я. — У меня есть основания считать, что поправка не константа.

— Основания, — повторил Штерн с удовольствием. — Основания — это прекрасно. Основания — это то, что у нас заменяет результат. У меня, Кирюша, тоже есть основания. У меня есть основания считать, что поправка — константа, потому что я её вычислил.

— Вы её вычислили из модели.

— А модель?

— Из допущения.

— Из допущения, — согласился Штерн. — Все модели из допущения. Физика — это искусство выбирать такие допущения, которые потом не стыдно защищать.

Гурвич хмыкнул в мензурку.

— А что вы предлагаете? — спросил Штерн. — Эксперимент?

— Эксперимент, — сказал я.

— На чём?

— На эталоне. На переходе. На любых часах, которые идут достаточно долго и достаточно честно.

Штерн посмотрел на меня так, как смотрят на ребёнка, который предлагает проверить теорию относительности на самокате.

— Кирюша, — сказал он. — Эксперимент по проверке дрейфа требует точности, которой у нас нет. Нам нужно измерять смещение порядка одну сотую от того, что мы умеем измерять. Это не вопрос денег. Это вопрос природы.

— Значит, надо увеличить время наблюдения.

— На сколько?

— На десять лет.

— Прекрасно, — сказал Штерн. — Через десять лет я приду в одиннадцать и спрошу: «Ну что, Кирюша?» — и вы мне покажете десять лет наблюдений в пределах погрешности.

— Тогда надо ставить эксперимент на длинных рядах. На старых данных. Семьдесят четвёртый год, сверка эталонов, они же всё записывали...

— Кирюша, — сказал Штерн, и в его голосе появилась та мягкость, которой я боялся больше, чем крика. — Вы знаете, что такое архив?

— Да.

— Архив — это кладбище гипотез. Там всё похоронено, и всё похоронено с почестями. Не надо туда ходить.

Он встал, взял со стола статью Гурвича — распечатку, — полистал её и сказал:

— Лев, тут у вас на девятой странице размерность не сходится.

— Где?

— Девятая страница, вторая формула.

Гурвич посмотрел. Побледнел. Нашёл. Размерность действительно не сходилась — в правой части стояли секунды, а в левой — секунды в квадрате, и это было не физикой, а опечаткой, но опечатка в формуле — это как вывих: вроде мелочь, а ходить нельзя.

— Спасибо, — сказал Гурвич сквозь зубы.

— Тривиально, — сказал Штерн и ушёл к себе.

Мы просидели в тишине минуты две.

— Он прочитал девятую страницу, — сказал Гурвич.

— Прочитал.

— Значит, остальное ему понравилось.

— Значит, понравилось.

Сноска о научной вежливости. Замечание к девятой странице — это высшая форма похвалы. Если рецензент ругает девятую страницу, значит, первые восемь он прочёл. Если он прочёл первые восемь, значит, текст его не отпустил. Если текст его не отпустил, значит, работа хорошая. Это единственная профессия, где оскорбление означает «мне понравилось».

В двенадцать было заседание по заявке.

Заявка называлась «Исследование нелинейных эффектов хрональной динамики в прецизионных измерениях». В переводе на русский это означало: «Дайте денег, мы посмотрим, насколько всё плохо». В заявке было сорок страниц, из них тридцать восемь написал Гурвич, две — Штерн, а таблицу с планом работ собирал я, и по этой таблице было видно, что первые полтора года уйдут на закупку оборудования, а остальные — на объяснение, почему оно не пришло.

Заседание вела заместитель директора по науке, Ирина Борисовна, женщина, у которой было лицо человека, досрочно погасившего ипотеку и теперь присматривающегося к чужой.

— Итак, — сказала она. — Аркадий Львович, что вы нам предлагаете?

Штерн говорил двадцать минут. Он говорил о традициях, об эталоне, о том, что институт должен оставаться институтом, а не «кружком по интересам», и о том, что заявка «в целом интересная, но требует уточнения методологии».

— А кто будет отвечать за методологию? — спросила Ирина Борисовна.

— Методология отработана, — сказал Штерн. — Я тридцать лет занимаюсь методологией. Есть, конечно, товарищи, — он кивнул в сторону Гурвича, — которые считают, что время ведёт себя как пьяное, но я вынужден напомнить, что физика — не биография.

Гурвич положил ручку.

— А я вынужден напомнить, — сказал он, — что физика — не мемуары. И то, что вы тридцать лет называете методологией, — это тридцать лет повторения одного допущения.

— Лев, — сказала Ирина Борисовна. — По существу.

— По существу: если мы хотим измерить дрейф, нам нужен эксперимент, а не уточнение терминов. И нужен человек, который умеет считать ошибку. У нас такой человек есть.

Все посмотрели на меня.

Я ненавижу момент, когда все смотрят на меня. В этот момент я становлюсь не человеком, а ресурсом: молодым, перспективным, неоплачиваемым.

— Тюрин? — сказала Ирина Борисовна. — Он же младший научный сотрудник.

— Он кандидат наук, — сказал Гурвич. — И он единственный, кто у нас в институте умеет обращаться с эталоном так, чтобы тот не обиделся.

— Хорошо, — сказала Ирина Борисовна. — Тюрин, что вы предлагаете?

Я встал. В горле было сухо, как в смете.

— Я предлагаю обработать архив, — сказал я. — Семьдесят четвёртый, восемьдесят девятый, две тысячи третий. Три сверки эталонов, три эпохи, одна аппаратура. Если дрейф есть, он проявится в расхождении между сверками. Это не требует нового оборудования. Это требует времени и человека.

— Сколько времени?

— Полгода. Может, восемь месяцев.

— А результат?

— Результат будет отрицательным или положительным, — сказал я. — В обоих случаях это результат. Впервые за одиннадцать лет.

В комнате стало тихо. Я почувствовал, что сказал лишнее, и что лишнее было правдой, а правда в этом институте считалась нарушением регламента.

— Ну, — сказала Ирина Борисовна, — отрицательный результат — тоже результат. Это мы все знаем. — Она сделала пометку. — Тюрин, подготовьте записку на две страницы. Без формул.

Я сел.

Штерн смотрел в окно. Гурвич смотрел в мензурку. Оба понимали, что я только что сделал: я влез в их спор третьим, и теперь мне придётся в нём жить.

Сноска о том, как принимаются научные решения. Решение принимается так: сначала его принимают, потом обсуждают, потом оформляют, потом забывают. Если повезёт, обсуждают до того, как забыли. Записка на две страницы без формул — это жанр, в котором научная идея должна умереть, но так, чтобы её похоронили с уважением.

В столовой пахло так, как пахнет только в институтских столовых: подгоревшим маслом, хлоркой и надеждой на компот.

Я взял котлету «по-академически» — так она называлась в меню, и я до сих пор не знаю, что в ней академического, — гречку и чай. За стол сел Алик, аспирант третьего года, человек, который ещё верил, что наука — это когда ты что-то открываешь.

— Кирилл Анатольевич, — сказал он, — а правда, что вы будете заниматься дрейфом?

— Правда.

— А это правда, что если дрейф есть, то машина времени возможна?

Я посмотрел на него. Двадцать три года, свитер с надписью «ДАННЫЕ», глаза, в которых ещё не поселилась смета.

— Машина времени невозможна, — сказал я.

— Почему?

— Потому что для машины времени нужно не просто знать, куда ехать. Нужно ещё и вернуться. А вернуться — это попасть в точку, которая за время твоего отсутствия уехала дважды: один раз вместе со вселенной, а второй — потому что ты сам её сдвинул.

— А если посчитать?

— Посчитать можно, — сказал я. — Но тогда придётся признать, что ты не путешествуешь в прошлое. Ты путешествуешь в своё представление о прошлом, которое всё это время жило своей жизнью.

Алик задумался. Потом сказал:

— А это интересно.

— Это опасно, — сказал я. — Это самая опасная идея в институте, и она никому не нужна.

— Почему?

— Потому что за неё не дают грант. — Я отрезал котлету. — За неё дают третье авторство.

Сноска о котлете. Котлета «по-академически» — это котлета, в которой нет ни одного ингредиента, за который кто-то готов отвечать. Она символизирует научный метод: состав известен, происхождение — нет, а вкус зависит от того, с чем сравнивать.

После столовой я спустился в подвал.

В институте есть помещение, которое все называют «склепом», а в документах оно называется «хранилище эталонной базы». Это комната двенадцать квадратных метров, где круглый год плюс двадцать с допуском полградуса, влажность шестьдесят процентов, и стоит установка, которая выглядит как холодильник, состарившийся в дворянской семье. Установка не работает уже четыре года. Она числится «в режиме консервации», что на языке бухгалтерии означает «мы не знаем, что с ней делать, но списать страшно».

Рядом со установкой — стеллаж. На стеллаже — журналы. Тридцать четыре дерматиновые папки, в каждой по двести страниц, и все записи в них сделаны от руки, чернилами, людьми, которые умели писать так, что до сих пор понятно.

— Нина Сергеевна, — сказал я, — можно я возьму семьдесят четвёртый?

Лаборантка Нина Сергеевна, женщина, которая работала здесь дольше, чем существует кафедра, из которой я выпустился, подняла голову от кроссворда. У них с Зинаидиной Павловной была одна школа и, судя по всему, один словарь.

— Бери, — сказала она. — Только не уноси. Они не любят, когда их уносят.

— Кто не любит?

— Журналы, — сказала Нина Сергеевна.

Я взял семьдесят четвёртый, восемьдесят девятый и две тысячи третий. Три папки. Три эпохи. Одна аппаратура, одна комната, одни и те же руки — в семьдесят четвёртом писали чернилами, в восемьдесят девятом шариковой ручкой, в две тысячи третьем гелевой, и это была вся разница между эпохами.

Я сел за стол у окна, включил лампу и открыл первую.

Сноска о журналах. В бумажном журнале есть одно свойство, которого нет ни в одной электронной базе: его нельзя отредактировать задним числом, не оставив следа. Чернила стареют. Почерк меняется. Кто-то ошибся в сорок девятом году и зачеркнул одной чертой, а не двумя, и по этой черте через семьдесят лет видно, что он торопился. Данные — это не цифры. Данные — это люди, которые их записали.

Сверка семьдесят четвёртого года была образцовой. Тридцать восемь страниц: температура, влажность, показания, поправки, подписи. В конце — вывод, написанный каллиграфическим почерком: «Расхождение в пределах допуска. Замечаний нет».

Я выписал числа.

Сверка восемьдесят девятого — та же методика, тот же эталон, другой человек. В конце: «Расхождение в пределах допуска. Замечаний нет».

Я выписал числа.

Сверка две тысячи третьего — уже с компьютерной распечаткой, подклеенной к странице. В конце: «Расхождение в пределах допуска».

Я выписал числа.

А потом сел и стал считать.

Считать надо было аккуратно, потому что считать в этой комнате было опасно: за любым числом стоял человек, который его записал, и если ты находил ошибку, ты находил её не в числе, а в человеке.

Я пересчитал всё трижды. Первый раз — как обычно. Второй раз — подозревая себя. Третий раз — подозревая методику.

Результат был один и тот же.

Расхождение между сверками росло. Не скачками, не хаотически — плавно, как растёт долг. И росло оно не пропорционально времени, а быстрее: между семидесятым и восьмым годом — чуть-чуть, между восьмым и третьим — вдвое больше, между третьим и сегодняшним — ещё вдвое.

Я отложил карандаш.

В комнате было тихо. Эталон стоял в углу и молчал, как молчат вещи, которые всё знают и ни за что не отвечают.

— Ну и что мне с тобой делать? — сказал я вслух.

Эталон не ответил. Он был в консервации.

Я взял лист и написал в углу три числа. Потом посмотрел на них и понял, что если это не ошибка, то это — то самое. То, о чём спорят Штерн и Гурвич одиннадцать лет. То, за что дают гранты, премии и отдельную лабораторию. То, из-за чего люди перестают здороваться.

И тогда я сделал то, что делает любой нормальный метролог, когда видит аномалию: я стал искать, где я ошибся.

Я проверил единицы. Проверил календарь — високосные годы, переход на летнее время, все эти милые детали, из-за которых в семидесятых годах один час мог стоить человеку диссертации. Проверил, не путаю ли я приборы: в семьдесят четвёртом стоял один эталон, в восемьдесят девятом — другой, в две тысячи третьем — третий, и это, вообще говоря, убивало всю мою затею, потому что разные эталоны — это разные ошибки, и складывать их нельзя.

Я просидел до половины восьмого. Нашёл одиннадцать причин, по которым мои числа ничего не значат. Все одиннадцать были уважительные. Ни одна не была окончательной.

Сноска о том, как делаются открытия. Открытие — это когда ты нашёл аномалию и не смог её объяснить одиннадцатью способами. Одиннадцать — это критическое число. На двенадцатом способе ты либо сдаёшься и пишешь статью, либо начинаешь верить, что вселенная тебя заметила.

Я закрыл журнал. Погасил лампу. Постоял в темноте, слушая, как в вентиляции гуляет сквозняк.

— Нина Сергеевна, — сказал я, выходя, — а вы не помните, почему в восемьдесят девятом сверку делали на три месяца позже?

Нина Сергеевна отложила кроссворд.

— Помню, — сказала она. — Потому что в восемьдесят девятом не было денег на калибровку. Ждали, когда дадут. Не дали. Сделали как смогли.

— А в две тысячи третьем?

— А в две тысячи третьем, — сказала она, — не было человека. Тот, кто умел, ушёл. Пришёл другой, молодой, и он делал по инструкции, а инструкция была написана в семьдесят четвёртом.

Она посмотрела на меня внимательно.

— А что ты там нашёл?

— Пока ничего, — сказал я. — Пока только то, что мы двадцать лет мерили разные вещи и называли это одним словом.

— А, — сказала Нина Сергеевна. — Это у нас постоянно.

Домой я вернулся в половине девятого.

Квартира встретила меня запахом ветеринарной клиники — того самого, который остаётся на руках, на куртке и на совести. Гейзенберг лежал на подоконнике, рядом с тремя секундомерами, и смотрел на меня с укором, как смотрят существа, которые точно знают, что ты не был на работе, а был в столовой.

— Ну что, — сказал я. — Ты как?

Кот не ответил. Кот вообще не отвечал на вопросы, если вопрос не подразумевал еду.

На столе лежала бумажка. Я знал, что там написано, потому что сам туда положил, чтобы не забыть: «Клиника. Анализы. 14 400. Повтор через месяц».

Четырнадцать тысяч четыреста. Для человека с моей зарплатой это была не сумма, а срок. Я посмотрел на часы деда — шесть сорок две поправки, хром, ремешок потёрт до состояния «историческая ценность», — и впервые за сорок лет их существования подумал о них не как о памяти, а как о деньгах.

Позвонили из банка. Я не взял. Позвонили ещё раз. Я взял и услышал вежливый голос, который сообщил, что «у вас есть возможность оформить», и я сказал «спасибо, я подумаю», и голос сказал «конечно, я перезвоню завтра», и я понял, что завтра у меня появится новый друг.

Я сел на табуретку и стал считать.

Считать я умею. Это единственное, что я умею по-настоящему: брать величину, разбирать её на составляющие, приписывать каждой погрешность и получать в конце честный ответ, в котором нет ничего утешительного. Я посчитал зарплату, подработку, долг за квартиру, корм, клинику — и получил число, которое не сходилось.

Тогда я посчитал ещё раз.

Результат был тот же. В метрологии это называется воспроизводимостью, и я ею гордился.

Сноска о деньгах. Деньги — самый точный прибор из всех, что у меня были. Они не врут о том, сколько их нет. Погрешность у них нулевая, а неопределённость — вся жизнь.

Утром я взял дедовы часы, положил их в карман куртки и поехал на улицу Правды, потому что в интернете было написано, что там принимают «предметы с историей» и оценивают бесплатно.

Дорога заняла сорок минут. За эти сорок минут я придумал семь причин не идти, три способа занять деньги и один вариант продать секундомер, который отверг сразу, потому что секундомер — это не вещь, а орган.

В метро был час пик, и я стоял на эскалаторе, прижатый к поручню человеком в пуховике, у которого в наушниках играло что-то с очень устойчивым ритмом. Ступенька ехала вверх. Я стоял на ней и смотрел на ступеньку впереди — на ту, где минуту назад стоял другой человек.

Его уже не было. Ступенька была та же самая. Человека не было.

И тут я впервые подумал то, что через месяц скажу Дону в подвале, а через полгода напишу в статье, которую никто не опубликует: прошлое — это не место. Это ступенька. Она уехала, и на ней уже стоит кто-то другой, и если ты шагнёшь туда, где стоял твой дед, ты шагнёшь не к деду. Ты шагнёшь на его ступеньку, занятую чужим.

Эскалатор вынес меня наверх, в холод. Я вышел на улицу Правды, нашёл дом девять, обошёл стеклотару, киоск «Всё для бани» и остановился перед подвальной дверью.

Ломбард был в подвале. Над дверью висела вывеска: «Время — деньги. У нас принимают оба. Оценка бесплатно».

Я стоял перед ней минуты две.

Потом вошёл.

За стойкой сидел человек в чёрном свитере, с лицом мастера, которому не в первый раз приносят сломанное и просят оценить. Он поднял глаза, посмотрел на мою руку, в которой лежали часы, и сказал:

— Показывайте.

Я показал.

Он взял их, перевернул, посмотрел на заднюю крышку, приложил к уху, послушал — и в этом жесте было больше уважения к прибору, чем во всех семинарах, на которых я был за одиннадцать лет.

— Ход сорок секунд, — сказал он.

— Сорок две, — сказал я.

— В среднем?

— В среднем сорок.

— Тепловой дрейф?

— Механика. Пружина.

Он кивнул и вдруг поднял глаза.

— А вы, простите, не метролог?

Я опешил. В ломбардах меня ещё не опознавали по внешнему виду.

— Метролог, — сказал я.

Человек в свитере отложил часы, аккуратно, как откладывают инструмент, и сказал:

— Подождите.

Он ушёл за занавеску. За занавеской была дверь. За дверью — лестница. За лестницей — то, что я потом назову подвалом, и что станет на следующие месяцы моим вторым домом, моей лабораторией, моим позором и — я забегаю вперёд — моим единственным настоящим открытием.

Я стоял у стойки и слушал, как в глубине помещения что-то гудит. Гул был низкий, ровный, и в нём была та нота, которую я не люблю до сих пор: нота прибора, который работает не так, как задумано, но уже не может остановиться.

Я тогда подумал: наверное, холодильник.

Я тогда много чего думал.

Глава 2. Кот, который не там

«Наблюдатель влияет на кота. Кот влияет на наблюдателя тем, что его нет». — Из методички по квантовой зоологии, с. 14

За занавеской что-то стукнуло. Потом ещё раз. Потом раздался звук, с каким открывается дверца старого холодильника, и человек в свитере вернулся.

Вместе с ним вернулся свет: он включил в глубине помещения лампу, и подвал на секунду показался мне больше, чем был. Я успел увидеть стеллаж с коробками, стол, на котором стояли весы, и в глубине — что-то большое, накрытое брезентом, как лодка в гараже.

— Артур Суренович, — сказал человек в свитере, — тут человек с часами. И он метролог.

— Метролог, — повторил голос из глубины, с удовольствием, как повторяют слово «борщ».

Из-за стеллажа вышел мужчина небольшого роста, в пальто, которое стоит дороже моей квартиры вместе с котом, с бородкой и с глазами коллекционера. Такие глаза не смотрят на людей. Такие глаза смотрят на предметы и оценивают, как давно они не видели реставратора.

— Артур Суренович Багдасарян, — сказал он и протянул руку. — А вы?

— Кирилл.

— Кирилл. — Он пожал мне руку так, будто мы уже договорились о чём-то, о чём я ещё не знал. — Хорошая вещь. Не продавайте.

— Мне нужны деньги, — сказал я, и это прозвучало жалобно даже для меня.

— Всем нужны деньги, — согласился Дон. — Это не повод продавать часы.

Он взял их, повернул к свету, посмотрел на циферблат, потом на меня.

— Сорок секунд?

— Сорок две.

— А если точнее?

Я замялся. Вопрос был неприличный. В метрологии спрашивать «а если точнее» — это как спрашивать у человека, сколько он весит: вроде можно ответить, но потом это будут помнить.

— Плюс сорок две и три десятых в сутки, — сказал я. — При нормальных условиях. Если носить на руке — до сорока восьми, зависит от температуры тела и от того, как вы двигаетесь.

Дон кивнул и положил часы на стойку. Аккуратно, как кладут инструмент.

— Мне нравится, — сказал он. — Вы не торгуетесь. Вы уточняете. Это редкий талант.

— Я не продаю, — сказал я. — Я пытаюсь продать. Это разные вещи. Когда продаёшь, торгуешься. Когда пытаешься, уточняешь.

Дон засмеялся. У него был короткий, неожиданно тёплый смех, и от этого он становился опаснее: к человеку, который смеётся, начинаешь испытывать доверие, а доверие в ломбарде — это как скидка в аптеке.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда я вам предложу другое.

Он повернулся к человеку в свитере.

— Феликс, принеси коробку.

Феликс ушёл и вернулся с деревянной коробкой, обитой зелёным сукном. Коробка была старая, углы стёрты, и на крышке была латунная табличка с гравировкой, которую я не смог прочитать, потому что гравировка была на латыни, а латынь я знаю в объёме, позволяющем отличить её от греческого.

Дон открыл коробку.

Внутри, на подушке из бархата, лежал хронометр. Настоящий, морской, восемнадцатого века, с карданновым подвесом и с тем выражением механического лица, которое бывает только у приборов, переживших больше войн, чем их владельцы.

— Он уходит, — сказал Дон. — Девятнадцать минут в сутки.

Я наклонился.

— Вперёд или назад?

— Вперёд.

— Девятнадцать ровно?

— Девятнадцать минут сорок секунд. Иногда тридцать. Иногда двадцать пять.

Я выпрямился.

— Это невозможно, — сказал я.

— Вот и я так думаю, — сказал Дон. — Поэтому ищу метролога.

Сноска о хронометрах. Морской хронометр — это прибор, который в восемнадцатом веке стоил как деревня и решал задачу, из-за которой тонули корабли: как узнать, где ты находишься, если вокруг только вода и одна звезда. Его точность была вопросом жизни нескольких сотен человек. Поэтому когда хронометр начинает уходить на девятнадцать минут в сутки, это не поломка. Это либо подделка, либо чудо, либо — и это самое неприятное — прибор, который честно реагирует на что-то, чего в инструкции не было.

— Девятнадцать минут в сутки — это не ход, — сказал я. — Это потеря. Механизм с таким уходом не работает. Он падает.

— Он не падает, — сказал Дон. — Он идёт.

— Тогда он не тот, за кого себя выдаёт.

— Он выдаёт себя за хронометр, — сказал Дон. — И я хочу знать, за кого он выдаёт себя на самом деле.

Я посмотрел на него. В подвале было тепло, пахло озоном и — слабо, на грани — машинным маслом. Наверху кто-то уронил что-то тяжёлое, и потолок отозвался.

— Я не эксперт по механизмам, — сказал я. — Я метролог. Я измеряю. Я не чиню.

— Мне не нужно чинить, — сказал Дон. — Мне нужно знать, почему он уходит. И ещё одно.

— Что?

— Мне нужно знать, насколько он уходит от того, что должно быть. Не от того, что показывает, а от того, что должно.

Я не сразу понял, о чём он. А когда понял, мне стало неуютно: он спрашивал не про часы. Он спрашивал про время.

— Тридцать тысяч, — сказал Дон. — За месяц. Если найдёте причину — ещё тридцать.

Тридцать тысяч. У меня в кармане лежал счёт на четырнадцать четыреста, а на подоконнике лежал кот, который стоил дороже всех моих приборов вместе взятых.

— Хорошо, — сказал я.

— Вот и славно, — сказал Дон и закрыл коробку. — Феликс, оформи.

Феликс достал бланк. Бланк был из тех, где сверху написано «Договор займа», а снизу — «Оценка бесплатно». Я подписал, не читая. Это была моя первая ошибка в этом подвале, и, к счастью, не последняя: если бы она была последней, я бы сейчас не писал эту книгу.

В субботу я понёс хронометр в институт, потому что дома у меня не было климатической камеры, а в институте была, и потому что мне нужно было с кем-то поговорить.

Институт в субботу — это особое место. Коридоры пустые, свет горит в каждом втором окне, и в этой тишине слышно, как в конце здания кто-то очень медленно печатает. Зинаида Павловна на вахте подняла голову, посмотрела на коробку у меня в руках и сказала:

— Украл?

— Принёс, — сказал я. — Показать.

— Показывать в понедельник надо, — сказала она. — В субботу тут только сумасшедшие.

— А вы?

— А я за них отвечаю, — сказала Зинаида Павловна и вернулась к кроссворду.

В лаборатории горел свет. Гурвич сидел за столом, в свитере, с чашкой, и смотрел в стену.

— Ты чего в субботу? — спросил он, не оборачиваясь.

— А вы?

— У меня дома ремонт, — сказал Гурвич. — Жена решила, что пора. Я объяснил, что ремонт — это необратимый процесс, как радиоактивный распад: начался, и обратно уже не соберёшь. Она сказала, что я pessimist.

— Пессимист.

— Что?

— По-русски — пессимист.

— Она сказала это по-английски, — сказал Гурвич. — Для убедительности.

Я поставил коробку на стол и открыл.

Гурвич посмотрел. Потом встал. Потом подошёл. Потом наклонился так низко, что чуть не коснулся носом стекла, и сказал:

— Это что, настоящий?

— Восемнадцатый век.

— И он ходит?

— Ходит, — сказал я. — На девятнадцать минут сорок в сутки.

Гурвич выпрямился.

— Нет, — сказал он.

— Да.

— Девятнадцать минут — это не ход. Это диагноз.

— Я тоже так подумал.

Он сел, потом снова встал, потом начал ходить по лаборатории — три шага туда, три обратно, — и в этом хождении было больше мысли, чем в иных статьях.

— Амплитуда? — спросил он.

— В норме.

— Изохронность?

— Проверяю.

— Температура?

— Проверяю.

— А остаток? — спросил он и остановился.

Я промолчал.

Гурвич посмотрел на меня внимательно.

— Ты его уже мерил, — сказал он.

— Мерил.

— И?

— Четыре десятых.

Гурвич медленно сел.

— Четыре десятых, — повторил он.

— В сутки.

— Я знаю, что в сутки, — сказал он. — Я не знаю, что это значит.

В этот момент дверь открылась, и вошёл Штерн.

Он был в пальто и с зонтом, и по его лицу было видно, что он шёл за чем-то конкретным и уже забыл, за чем.

— А, — сказал он. — Вы.

— Аркадий Львович, — сказал Гурвич. — Смотрите.

Штерн подошёл, посмотрел на хронометр, потом на нас, потом опять на хронометр.

— Что это?

— Хронометр, — сказал я. — Восемнадцатый век. Уходит на девятнадцать минут сорок в сутки. Плюс четыре десятых.

— Кто сказал?

— Я померил.

Штерн снял пальто, повесил его на стул, сел, надел очки и стал смотреть на прибор так, как смотрят на студента, который принёс на защиту чужую работу.

— Изохронная ошибка, — сказал он наконец. — Спираль. Её надо просто правильно отрегулировать, и всё уйдёт.

— Она отрегулирована, — сказал я. — Я проверял амплитуду на трёх уровнях завода. Ход линейно зависит от амплитуды. Это не она.

— Тогда подделка.

— Механизм подлинный. Клейма, номера, всё на месте.

— Тогда его перегрели.

— Он в термостате. Двадцать градусов, плюс-минус полтора.

Штерн снял очки.

— Кирюша, — сказал он. — Вы понимаете, что вы сейчас делаете?

— Измеряю.

— Вы берёте прибор, который не предназначен для прецизионных измерений, и получаете на нём результат, который противоречит всему, что мы знаем. Что вы должны сделать в такой ситуации?

— Проверить ещё раз.

— Нет, — сказал Штерн. — Вы должны спросить себя: а не идиот ли я?

В лаборатории стало тихо.

— Аркадий Львович, — сказал Гурвич.

— Я серьёзно, — сказал Штерн. — Это не оскорбление. Это метод. Девяносто процентов аномалий — это ошибки наблюдателя, и первое, что должен сделать физик, увидев аномалию, — предположить, что он идиот. Если после этого аномалия осталась — тогда можно идти к заведующему.

Он встал.

— Я не буду смотреть на ваш хронометр, — сказал он. — Я посмотрю на ваши расчёты. В понедельник. Принесите мне всё: журнал, протоколы, температурные ряды. Если там всё чисто — я извинюсь и первым подпишу заявку.

— А если не чисто?

— Тогда я скажу «тривиально», и мы оба сэкономим время.

Он забрал пальто и вышел. Зонт он забыл — зонт остался стоять у стола, как забытый свидетель.

Гурвич смотрел на дверь.

— Он прав, — сказал он вдруг.

— В чём?

— В методе. — Гурвич повернулся ко мне. — Ты должен был сначала обвинить себя. Иначе ты не учёный, а человек, который нашёл чудо и хочет, чтобы оно было.

— Я себя обвинял, — сказал я. — Три ночи.

— И?

— И приговор не вынесен.

Гурвич усмехнулся.

— Знаешь, что самое смешное? — сказал он. — Я одиннадцать лет доказываю, что поправка не константа. Одиннадцать лет. Мне за это не дают грантов, меня не зовут на конференции, и Штерн в каждой статье пишет, что я «не учитываю очевидного».

— И?

— И если ты сейчас прав, — сказал Гурвич, — то я всю жизнь был прав по неправильной причине. А это хуже, чем быть неправым.

Он взял чашку, посмотрел в неё, поставил обратно.

— Иди домой, — сказал он. — Меряй. Только не говори никому. Особенно ему.

Теперь про кота. Я обещал начать с кота, и я начинаю.

Гейзенберг появился у меня три года назад, в сентябре, в трансформаторной будке во дворе. Он сидел на бетонном полу между двумя кабелями и смотрел на меня с выражением, которое я могу описать только так: «Я здесь по делу, а ты — по недоразумению».

Я принёс ему колбасу. Он не съел колбасу при мне. Он съел её через сорок минут, когда я ушёл и вернулся, — и это была первая демонстрация его основного свойства.

Свойство заключается в следующем. Если я ищу кота, кота нет. Если я перестаю искать, кот обнаруживается ровно там, где я только что смотрел. Я проверял: ставил камеру, ставил датчик движения, ставил на подоконник диктофон. Камера записала пустой коридор. Датчик движения сработал дважды. Диктофон записал, как что-то мягкое проходит мимо микрофона и как я говорю: «Ну и где ты?»

Вывод, который я сделал, звучит так: кот не перемещается. Кот присутствует. Просто присутствует он не там, где его ищут, а там, где его не ищут, — и это, если подумать, свойство не кота, а наблюдателя.

У тёти Вали, соседки с четвёртого, была своя теория. Тётя Валя работала всю жизнь в бухгалтерии и потому во всём искала акт. Она утверждала, что кот «уходит не туда и возвращается не тот».

— Как это — не тот? — спросил я как-то.

— А ты посмотри ему в морду, — сказала тётя Валя. — Утром морда одна, вечером другая. Утром он добрый, вечером — как будто с него семь шкур сняли и обратно надели, только не по размеру.

— Это называется характер.

— Это называется подмена, — сказала тётя Валя. — У нас в бухгалтерии так же было: придёт человек с накладной, а в накладной не тот вес. И всё, ищи потом, кто виноват.

Однажды кот пропал на три дня. Я обошёл двор, подвал, трансформаторную будку, расклеил объявления: «Пропал кот. Серый, наглый, отзывается на звук холодильника». На втором объявлении, которое я клеил у подъезда, было написано от руки поверх моего текста: «Он не пропал, он ходит». Почерк был тёти Валин.

Кот вернулся на четвёртый день. Пришёл, сел посреди кухни и посмотрел на меня так, будто это я отсутствовал три дня и должен объясниться.

— Ну и где ты был? — спросил я.

Он не ответил. Он никогда не отвечает. Но в тот вечер я поймал себя на мысли, которая мне не понравилась: а что, если тётя Валя права не в бухгалтерском смысле, а в каком-то другом? Что, если кот действительно уходит — только не в пространстве, а по времени, и возвращается не тот, потому что время, в котором он был, уже уехало?

Я тогда выбросил эту мысль. Я выбрасываю её до сих пор, и она возвращается, как кот.

Я назвал его Гейзенбергом. Соседка по лестничной клетке, тётя Валя, называет его «этот, который орёт». Ветеринар называет его «пациент». Сам он никак себя не называет, но реагирует на звук открываемого холодильника быстрее, чем на любое имя, включая своё.

Сноска о квантовой зоологии. Кот Шрёдингера был придуман, чтобы объяснить, как работает измерение. Мой кот был придуман, чтобы объяснить, как работает уборка: пока не

убрал — кот не найден; как только убрал — кот на убранном. Обе концепции верны и обе бесполезны, если вам нужно утром на работу.

Гейзенберг ел всё, что не приколочено. Он ел корм, который был для него, и корм, который был для него не предназначен. Он ел хлеб, огурцы, сыр, однажды — оливку, и посмотрел после оливки на меня так, будто я его предал лично.

В конце сентября он съел дождик.

Не тот дождик, который с неба. Тот, который «ёлочный», из фольги, — я достал коробку с прошлого Нового года, потому что искал в ней удлинитель, а удлинителя там не было, а был дождик. Гейзенберг съел примерно метр.

Я узнал об этом утром, когда кот сидел посреди комнаты и молчал. Коты не молчат. Коты, которые молчат, — это коты, которых надо везти.

В клинике было светло, пахло хлоркой и деньгами.

Врач, Полина Аркадьевна, женщина лет сорока с лицом человека, который видел всё, включая кота, съевшего ёлочный дождик, посмотрела на меня и сказала:

— Метр?

— Это заметно?

— У вас на рукаве написано «Госстандарт», — сказала она. — И у вас лицо человека, который сейчас будет уточнять.

Я не стал уточнять.

Она ощупала кота, послушала, посмотрела в глаза, потом сказала:

— Инородное тело. Скорее всего, выйдет само. Но может не выйти. Наблюдаем три дня. Если что — рентген, капельница, возможно, операция.

— Сколько?

Она назвала сумму.

Я кивнул так, как кивают, когда сумма больше, чем ты готов услышать, но меньше, чем ты боишься.

— И ещё, — сказала Полина Аркадьевна. — Он у вас не кастрирован.

— Это его личное дело.

— Это ваше личное дело, — сказала она. — Потому что он метит. А метит он, судя по запаху, у вас на всё, что ниже пояса.

— Он метит на куртку.

— Куртка — это тоже ниже пояса.

Я заплатил. Мне выдали чек, бумажку с рекомендациями и кота, который смотрел на меня с достоинством существа, пережившего медицинское вмешательство и не намеренного это обсуждать.

На улице шёл дождь. Настоящий, не ёлочный.

Сноска о счетах. Счёт из ветеринарной клиники — единственный документ, который я читаю дважды. Первый раз — глазами. Второй — тем органом, который отвечает за честность с собой. Он всегда говорит одно и то же: ты платишь не за лечение, а за то, чтобы не думать о том, что было бы, если бы ты не заплатил.

Дома я положил кота на подоконник, рядом с секундомерами, и сел напротив.

— Ну что, — сказал я. — Ты как?

Кот посмотрел на меня.

— Молчишь, — сказал я. — Правильно. Молчание — это единственный способ не соврать.

Он отвернулся и заснул. Я смотрел на него и думал, что если бы я мог измерить, насколько он ушёл за эти три дня, я бы, наверное, успокоился. Но коты не измеряются. Их можно только найти или не найти.

Хронометр я забрал в пятницу.

Дон передал его вместе с коробкой, ключиком и запиской, написанной от руки: «Не заводить без необходимости. Феликс». Записка была на бланке ломбарда, и внизу, мелким шрифтом, стояло: «Оценка бесплатно».

Всю субботу я собирал стенд.

Стенд получился такой: холодильник, отключённый от сети и используемый как термостат (я поставил внутрь лампу на двадцать пять ватт и термометр), внутри — подставка из пенопласта, на подставке — хронометр, рядом — два термометра, hygrometer и датчик, который я одолжил в институте и не собирался об этом рассказывать. Снаружи — ноутбук с программой, которую я написал за три часа, и секундомер, который я не выключал.

Всю ночь я мерил.

Человек, который никогда не мерил всю ночь, представляет себе это так: сидит учёный в полутьме, приборы тикают, он курит трубку и делает открытия. На самом деле всё наоборот. Ты сидишь на табуретке, у тебя затекает нога, ты записываешь число, потом смотришь на часы, потом записываешь время, потом понимаешь, что записал время не то, и начинаешь заново. Ты пьёшь чай, который остыл два часа назад, потому что поставить чайник и не отвлечься — это отдельный навык. Ты смотришь на прибор и ждёшь, когда он соврёт, и он не врёт, и это самое обидное: он не врёт, а ты всё равно не понимаешь.

К двум часам ночи я исключил температуру. Я поднимал её на два градуса и опускал на два градуса, и ход менялся — но не так, как должен был. Он менялся меньше. Как будто механизм внутри хронометра был не совсем механизмом, а механизмом, который знает о температуре больше, чем я.

К четырём я исключил влажность. К пяти — положение, вибрацию и магнитное поле. К шести — кота, который дважды пытался лечь на холодильник и дважды был снят.

В половине седьмого я записал в журнал фразу, которую потом вычеркнул, но запомнил: «Похоже, что прибор реагирует не на условия, а на время, в котором находится».

Это была плохая фраза. В ней не было ни одной проверяемой величины. Но она была честной, а в метрологии честная фраза, в которой нет величины, — это как компас без стрелки: направление вроде есть, а идти нельзя.

Я уснул в семь, на полу, рядом с холодильником. Мне приснился эскалатор: я стоял на ступеньке, ступенька ехала, а навстречу мне шёл человек в пальто, и у него было моё лицо, но старше, и он говорил: «Не стой в контуре». Я хотел спросить, в каком контуре, но не успел: ступенька кончилась, и я проснулся от того, что кот сел мне на грудь.

Остался остаток.

Я смотрел на него минут двадцать, потом пересчитал ещё раз, потом ещё раз — и в конце концов написал на листе бумаги четыре цифры: ноль, четыре, ноль, ноль.

Ноль целых, четыре десятых секунды в сутки.

Это была не ошибка прибора. Прибор ошибался на тысячные. Это было что-то, что сидело в остатке, как заноза, и не объяснялось ничем из того, что я умел объяснять.

И — вот в чём была беда — эти четыре десятых я уже видел.

В архиве, в склепе, между сверкой семьдесят четвёртого года и сверкой восемьдесят девятого, было ровно такое же расхождение. Я тогда списал его на разницу эталонов и на человеческий фактор, потому что разница эталонов и человеческий фактор объясняют девяносто девять процентов всего, что происходит в метрологии.

Но здесь эталон был один. И человек был один. И это был я.

Сноска о совпадениях. В физике совпадение — это когда два числа сходятся, а объяснения нет. В жизни совпадение — это когда два числа сходятся, а объяснение есть, но тебе не нравится. Разница между физиком и человеком в том, что физик в этом месте начинает измерять, а человек — искать другое объяснение.

В шесть утра зазвонил телефон.

— Кирилл Анатольевич? — сказал Дон. — Извините за раннее. Как наши дела?

Я посмотрел на хронометр, на кота, на лист с четырьмя цифрами.

— Он уходит, — сказал я. — Ровно на девятнадцать минут сорок.

— Это я знаю.

— И ещё он уходит на четыре десятых в сутки больше, чем должен.

Наступила пауза. В паузе было слышно, как наверху, на четвёртом этаже, кто-то включает телевизор.

— Это много? — спросил Дон.

— Это невозможно, — сказал я.

— Вы уже говорили.

— Теперь я говорю иначе. — Я сел на пол, потому что стоять было тяжело. — Раньше я говорил, что невозможен прибор. Теперь я говорю, что невозможно время.

Дон помолчал.

— Приезжайте, — сказал он. — И коробку привозите. У меня есть ещё одна.

— Ещё одна?

— Ещё пять, — сказал Дон. — И все уходят. По-разному. Но уходят.

Я закрыл глаза.

— Артур Суренович, — сказал я. — А зачем вам пять хронометров?

И он ответил фразой, которую я потом вспоминал в самых неподходящих обстоятельствах — в метро, на заседании, в бронзовом веке, стоя по колено в грязи:

— Потому что один — это часы. А пять — это линейка.

Я положил трубку и посмотрел на хронометр.

Он тикал. Он тикал ровно, спокойно, с достоинством прибора, который пережил три войны и одного кота. На циферблате было четыре часа сорок минут — не потому, что столько было, а потому, что столько он показывал. Разница между этими двумя вещами и была моей профессией.

В дверь постучали.

— Кирилл, — сказала тётя Валя из-за двери. — Кот у тебя?

— У меня.

— А чего он у тебя?

— Он всегда у меня.

— Ага, — сказала тётя Валя. — Значит, вернулся.

Я открыл. Тётя Валя стояла в халате и с клюкой, которую носила не потому, что хромала, а потому, что с клюкой разговаривают охотнее.

— Я его в подъезде нашла, — сказала она. — Сидит на подоконнике, смотрит на улицу. Как будто ждёт кого-то.

— Он всегда так сидит.

— Всегда — это когда каждый день, — сказала тётя Валя. — А это другое. Это когда ждёт.

Она ушла. Я закрыл дверь, вернулся на кухню и сел напротив кота.

— Ты чего ждёшь? — спросил я.

Кот посмотрел на меня. Потом на хронометр. Потом опять на меня.

Сноска о линейках. Линейка — это прибор, у которого есть начало и конец. Всё в метрологии держится на линейке: чтобы измерить, насколько что-то уехало, нужна точка, которая не уезжает. У геодезистов это репер, у астрономов — квазар, у моряков — звезда. У меня не было ничего. У меня были пять часов, которые уходили по-разному, и кот, который уходил не туда.

Пять часов — это линейка, сказал Дон. Хорошо. Но чтобы линейка что-то значила, её надо приложить к чему-то, что стоит на месте.

А место, как я уже начинал понимать, не стояло.

Я достал из ящика блокнот, открыл чистую страницу и написал вверху:

«Что не уезжает?»

Потом сидел и смотрел на этот вопрос минут сорок.

Ответа не было. Был только кот, который спал на моих бумагах, и хронометр, который тикал на девятнадцать минут сорок секунд быстрее, чем должен был, и лист с четырьмя цифрами, которые не сходились ни с чем, кроме одного старого архивного журнала в подвале института.

За окном светало. На улице Правды, в подвале, спал человек в пальто, который уже знал ответ на мой вопрос, — только он не знал, что это ответ.

Я этого тогда тоже не знал.

Глава 3. Ломбард «Хронос»

«Время — деньги. У нас принимают оба. Оценка бесплатно». — Вывеска, улица Правды, 9

В понедельник я взял отгул.

Отгул в институте — это особая валюта. Его нельзя получить, если он тебе нужен, и нельзя потратить, если он у тебя есть. Мне его дали потому, что заявление подписал Гурвич, а Гурвич подписал потому, что я сказал ему правду: «Мне нужно померить пять приборов в нерабочей обстановке».

— В нерабочей, — повторил Гурвич. — Это как?

— Это когда никто не спрашивает, зачем.

— Тогда пиши «по семейным обстоятельствам», — сказал Гурвич. — Это единственная формулировка, которую здесь понимают.

Я написал. Мне подписали.

Сноска об отгулах. В научном институте отгул — это не право, а услуга. Ты берёшь день, а потом полгода слышишь: «А помните, Тюрин в понедельник не был?» — и это произносится не с укором, а с интересом, как будто выяснилось, что ты в тот день летал на Луну и не позвал.

Кот остался дома. Кот был против.

— Я вернусь, — сказал я.

Кот посмотрел на дверь, потом на меня, потом на дверь.

— Это работа, — сказал я.

Кот отвернулся. У него был талант превращать бытовую необходимость в личную измену.

В ломбарде было теплее, чем на улице, и пахло иначе, чем в прошлый раз: не озоном, а пылью, деревом и чем-то ещё, что я не сразу опознал. Потом опознал: сургуч.

Феликс сидел за стойкой и разбирал коробку с квитанциями. Увидев меня, он кивнул так, как кивают коллеге, — и это было приятно, потому что коллегой меня давно никто не считал.

— Привезли?

— Привёз.

— Все?

— Одну.

— Артур Суренович сказал — пять.

— Артур Суренович сказал, что у него есть ещё пять, — сказал я. — Одну он мне уже дал. Остальные я приехал посмотреть.

Феликс отложил квитанции.

— Логично, — сказал он. — Идёмте.

Подвал оказался больше, чем мне показалось в первый раз.

Тогда я видел только занавеску, стойку и кусок стены. Теперь я увидел комнату метров в сорок, с низким потолком, с двумя лампами на кронштейнах, с верстаком у стены, с полками, на которых стояли коробки — десятки коробок, — и с тем самым предметом под брезентом, который я принял за лодку.

— Это что? — спросил я, кивнув на брезент.

— Это потом, — сказал Феликс.

Он подошёл к столу, снял с него бумаги и поставил на середину деревянную коробку.

— Вот.

В коробке лежали часы.

Пять штук, в ряд, на бархате, и все разные, как разные люди в очереди.

Первые я уже знал: морской хронометр в кардановом подвесе, латунь, восемнадцатый век, с тем самым лицом прибора, который пережил больше, чем его владельцы.

Вторые были карманными: «Павел Буре», серебро, крышка с гравировкой, начало двадцатого века. На крышке было выцарапано «С. Я. 1910».

Третьи — командирские, в потёртом хроме, с красной секундной стрелкой и с надписью на циферблате, которая читалась как обещание.

Четвёртые — «Слава», квадратные, семидесятых, с браслетом, который когда-то был браслетом.

Пятые — маленькие, кварцевые, чёрные, с пластиковым ремешком, без всякой истории. Такие продавались на каждом углу в девяностые, и у половины моих однокурсников были точно такие.

— Это всё? — спросил я.

— Это пять, — сказал Феликс. — Как заказывали.

— Заказывал не я.

— Тем лучше, — сказал Феликс. — Значит, вы ничего не придумали.

Я развернул стенд прямо в подвале.

Термостат из холодильника тут был не нужен: в подвале было ровно плюс восемнадцать и не менялось, судя по всему, с момента постройки дома. Я поставил на стол пенопластовую подставку, положил на неё часы в ряд, развёл от них провода к датчику, открыл ноутбук и запустил программу, которую писал всю ночь.

Феликс смотрел.

— Что это?

— Стенд.

— А попроще?

— Я буду сравнивать их друг с другом, — сказал я. — Каждые часы — это точка. Пять точек — это линия. Если линия есть, значит, есть закономерность. Если закономерности нет, значит, я зря взял отгул.

— А если линия есть?

— Тогда у нас проблемы.

Феликс подумал.

— У нас или у вас?

— У всех, — сказал я.

Сноска о линейке. В метрологии нельзя измерить ничего одним прибором. Один прибор — это мнение. Два прибора — это спор. Три прибора — это уже калибровка. Пять приборов — это линейка, и линейка всегда честнее человека, который её держит, потому что линейка не заинтересована в результате.

Первые сутки я мерил базовый ход. Вторые — зависимость от температуры. Третьи — от положения. На четвёртые я сел считать.

И вот что получилось.

Хронометр восемнадцатого века уходил на девятнадцать минут сорок в сутки. Часы «Павел Буре» — на три минуты двенадцать. Командирские — на сорок семь секунд. «Слава» — на шесть. Кварцевые — на четыре десятых.

Я пересчитал. Потом построил график. Потом посмотрел на график и почувствовал, как у меня холодеет затылок — то самое место, которое у метрологов отвечает за интуицию.

Ошибка росла с возрастом прибора.

Не с ценой. Не с качеством. Не с состоянием. С возрастом.

Чем старше были часы, тем больше они уходили — и уходили ровно, гладко, без скачков, как будто каждый прибор честно отрабатывал годы, которые прошли с момента, когда его сделали.

Я отложил карандаш.

— Феликс, — сказал я. — А вы не замечали, что старые вещи спешат?

Феликс посмотрел на меня.

— Все старые вещи спешат, — сказал он. — Они боятся, что их выбросят.

— Я серьёзно.

— И я серьёзно, — сказал Феликс. — У меня бабушка в восемьдесят лет ходила быстрее, чем я в сорок. Она говорила: «Я уже не успеваю медленно».

Я уставился на график.

Возраст прибора. Не износ. Износ дал бы разброс, а не прямую. Здесь была прямая. Прямая — это закон, а закон требует причины, и причины у меня не было.

А потом я сделал то, что должен был сделать сразу: вычел из каждой ошибки ту часть, которая объяснялась старением механизма.

Осталось четыре десятых.

У всех пяти. Одинаково. В сутки.

Сноска о том, что такое остаток. Остаток — это то, что осталось после того, как ты объяснил всё, что мог. В нормальной метрологии остаток — это стыд: значит, ты плохо объяснил. В хорошей метрологии остаток — это подарок: значит, вселенная оставила тебе записку. Разница между стыдом и подарком — это четыре десятых секунды в сутки.

Я взял в руки «Павла Буре».

Серебро было тёплым — не от руки, а оттого, что в подвале работала лампа и металл держал её тепло. На крышке, кроме гравировки «С. Я. 1910», были царапины: три длинные, параллельные, у самого края.

— Откуда они? — спросил я.

— С аукциона, — сказал Феликс. — Из семьи. Продавала внучка. Сказала, что часы принадлежали деду, который уехал и не вернулся.

— Куда уехал?

— Не сказала. Сказала только, что «в двадцатом». — Феликс помолчал. — Я спросил: в каком смысле? Она сказала: «В двадцатом году. И в двадцатом веке. И больше никак».

Я повертел часы.

Они тикали. Внутри, за стеклом, маленькая стрелка шла по кругу, и в этом движении не было ничего трагического: механизм не знал, что его хозяин не вернулся. Механизм вообще ничего не знает. Он просто идёт, пока его заводят.

— Странно, — сказал я.

— Что?

— Что вещь переживает человека и продолжает работать. Как будто ей не сообщили.

— Ей сообщили, — сказал Феликс. — Поэтому она и уходит.

Я посмотрел на него.

— В смысле?

— В прямом, — сказал Феликс. — Она уходит вперёд. Все эти часы уходят вперёд. Как будто торопятся догнать то, что от них ушло.

Он сказал это спокойно, вытирая руки о тряпку, и в его голосе не было ни мистики, ни пафоса — только мастер, который тридцать лет слушает механизмы и знает, что у каждого из них есть характер.

Я тогда не придал значения его словам.

Я придал им значение через полгода, в бронзовом веке, когда стоял по колено в грязи и смотрел, как один из этих приборов тикает в такт с чем-то, чего не было ни в одной моей таблице.

Гоша и Славик остались помогать.

Помощь выглядела так.

Гоша принёс обогреватель. Я сказал, что обогреватель нельзя, потому что он создаёт градиент температуры. Гоша сказал, что человеку тоже нужен градиент, и поставил обогреватель к стене, как можно дальше от стола. Через час в подвале стало плюс двадцать шесть у стены и плюс восемнадцать у приборов, и мне пришлось объяснять, что теперь у меня нестабильные условия и весь день насмарку. Гоша обиделся, но обогреватель унёс.

Славик вёл протокол.

Протокол выглядел так: тетрадь в клетку, на первой странице — «ПРОТОКОЛ», на второй — дата, на третьей — фраза «часы шли подозрительно».

— Славик, — сказал я. — «Подозрительно» — это не наблюдение.

— А как надо?

— Надо число.

— Число я не понимаю, — сказал Славик. — Я понимаю подозрительно.

— Хорошо, — сказал я. — Тогда пишите так: «часы шли с уходом, который не соответствует паспортному значению».

Славик записал. Потом перечитал. Потом сказал:

— Это то же самое, только длиннее.

— Это называется научный стиль.

— А зачем?

— Чтобы никто не понял, — сказал я. — И не придрался.

Славик посмотрел на меня с уважением.

— Это как в накладной, — сказал он.

Вечером он принёс мне тетрадь и сказал:

— Я тут подумал. Если часы отстают — это они возвращаются?

Я отложил карандаш.

— Что?

— Ну, — сказал Славик. — Если уход вперёд — они уходят в будущее. А если назад — они возвращаются. То есть у них есть направление. И если одно направление сильнее, значит, время... — он показал рукой, — ...течёт.

Я смотрел на него секунды три.

— Славик, — сказал я. — Вы понимаете, что вы сейчас сказали?

— Я сказал глупость.

— Вы сказали гипотезу, — сказал я. — Плохую, но гипотезу. И, что хуже, — проверяемую.

Славик просиял.

— А можно я её запишу?

— Запишите, — сказал я. — Только не в протокол.

Сноска о гипотезах. Хорошая гипотеза — это утверждение, которое можно опровергнуть. Плохая гипотеза — это утверждение, которое нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить, но зато можно обсуждать годами. Отличие научного разговора от ненаучного в том, что научный заканчивается, когда кончаются данные, а ненаучный — когда кончается вино.

Дон пришёл в половине второго, с пакетом, из которого торчал багет.

— Обед, — сказал он. — Вы обедали?

— Нет.

— Прекрасно. Наука любит голодных.

Он разложил на верстаке сыр, багет, виноград и две мензурки. Мензурки он налил из бутылки, которую достал из того же пакета, и я заметил, что бутылка была не простая, а с пылью, и пыль была настоящая, а не декоративная.

— Итак, — сказал он. — Что вы нашли?

Я показал график.

Дон смотрел на него долго. Потом сказал:

— Красиво.

— Это не про красоту.

— Всё про красоту, — сказал Дон. — Если график красивый, значит, за ним что-то есть. Некрасивые графики — это ошибки.

— Это неверно методически.

— Это верно житейски, — сказал Дон и отломил багет. — Ну?

Я объяснил. Про возраст, про прямую, про остаток. Дон слушал, не перебивая, и это было самое неприятное: он слушал так, как слушают люди, которые уже знают ответ и проверяют, совпадёт ли.

— То есть, — сказал он, когда я закончил, — все часы уходят на четыре десятых, потому что они находятся не там, где должны?

— Не так.

— А как?

— Я не знаю как, — сказал я. — Я знаю, что они уходят одинаково. И знаю, что это не должно быть одинаково.

Дон кивнул.

— А теперь я скажу вам, зачем мне пять хронометров, — сказал он. — И вы поймёте, почему я плачу вам тридцать тысяч, а не три.

Он достал из-под верстака ноутбук.

Ноутбук был старый, с наклейкой на крышке, и наклейка была от какой-то выставки, которая прошла в другом городе в другом году.

Дон открыл его, подождал, пока загрузится, и повернул ко мне.

На экране была таблица.

Столбцы: «Год», «Место», «Объект», «Вес», «Цена сейчас», «Цена тогда», «Маржа».

Строк было сорок.

— Что это? — спросил я.

— Бизнес-план, — сказал Дон. — Смотрите. Золото. В Египте, в эпоху Нового царства, золото было не деньгами, а материалом. Его было столько, что из него делали сандалии. Сандалии, Кирилл. Из золота. Потому что оно было дешёвым.

— Не совсем, — сказал я. — Сандалии из золота были: их нашли в гробнице Тутанхамона. Но не потому, что золото было дешёвым, а потому, что оно не считалось деньгами. Денег в нашем смысле там не было вовсе.

— А дебен?

— Дебен — это вес, а не монета. Девяносто один грамм, десять кидет по девять. Им мерили, а платили чем было: зерном, медью, тканью, мёдом. В одном папирусе женщину покупают за четыре дебена и один кидет серебра, а отдают за неё шесть бронзовых сосудов, десять дебенов меди, пятнадцать льняных одежд, саван, одеяло и горшок мёда. Представляете, как это выглядит в накладной?

— Прекрасно выглядит, — сказал Дон. — Как раз то, что нам нужно.

Сноска о накладных. В Древнем Египте не было монет, но была бухгалтерия. Стоимость выражали в весе металла — дебенах, — а платили тем, что было под рукой. Поэтому любая сделка была не покупкой, а обменом с длинным перечнем: сосуды, ткани, саван, одеяло, мёд. Историки называют это «денежной экономикой без денег» и добавляют, что именно поэтому египетские тексты так хорошо сохранились: считать в уме там было невозможно, приходилось записывать.

— И? — сказал я.

— И если привезти оттуда килограмм, — сказал Дон, — то по нынешним ценам это... — он пощёлкал по клавишам, — ...шесть миллионов. А там это стоило как пара сандалий.

— Вы хотите грабить гробницы.

— Я хочу покупать, — сказал Дон. — На месте. По тамошним ценам. Это разные вещи, и это важно: грабёж — это когда тебя потом ищут. Покупка — это когда искать некого.

Я посмотрел на таблицу. Потом на Дона. Потом опять на таблицу.

— Артур Суренович, — сказал я. — Вы понимаете, что это невозможно?

— Понимаю, — сказал Дон. — Поэтому и позвал вас.

— Я не могу построить машину времени.

— Я и не прошу, — сказал Дон. — Я прошу построить поправку.

Он закрыл ноутбук.

— Машина времени — это железо. Железо я найду. Мне нужен человек, который скажет, куда она поедет. Потому что если она поедет не туда, — он развёл руками, — это будет не бизнес, а лотерея. А я в лотереи не играю. Я в них выигрываю.

Сноска о бизнес-планах. Бизнес-план отличается от научной статьи одним: в бизнес-плане ошибка стоит денег, а в статье — репутации. Поэтому бизнес-планы пишут короче, а проверяют тщательнее. Правда, проверяют не так, как надо, а так, как позволяет совесть.

Виолетта Марковна пришла в три.

Она принесла папку, в которой лежал договор, и лицо, с которым приходят люди, знающие, что их сейчас будут просить о невозможном.

— Я посмотрела вашу схему, — сказала она, садясь. — И у меня три вопроса.

— Слушаю.

— Первый: кто собственник эпохи?

— Никто, — сказал я.

— Это хорошо, — сказала Виолетта Марковна и сделала пометку. — Второй: как мы фиксируем момент передачи?

— Не понимаю.

— Если вы привезёте предмет, — сказала она, — нам нужно доказательство, что он был взят в прошлом, а не украден в настоящем. Иначе получится, что мы торгуем краденым, а это уже другая статья.

Я задумался.

— Фотография? — сказал я. — На фоне эпохи?

— Фотография на фоне эпохи, — повторила Виолетта Марковна и записала. — Годится. Третий вопрос: что мы делаем, если предмет был создан позже, чем мы его взяли?

— Как это?

— Ну, — сказала она, — если вы привезёте из прошлого вещь, которая в прошлом ещё не существует. Это же возможно?

Мы с Доном переглянулись.

— Теоретически, — сказал я.

— Вот это меня и беспокоит, — сказала Виолетта Марковна. — Потому что если вещь существует до того, как её создали, то она не имеет правообладателя. А если не имеет правообладателя, то её нельзя продать законно. Можно только подарить.

Дон засмеялся.

— Виолетта Марковна, — сказал он, — вы у нас самый большой фантаст.

— Я юрист, — сказала она. — Это то же самое, но с ответственностью.

В шесть вечера в торговом зале что-то упало.

Я не придал значения: в ломбарде падало регулярно. Потом я услышал голос, от которого у меня похолодели руки, — низкий, академический, с той самой интонацией, которой сорок лет читали лекции и тридцать лет не давали возражений.

— Молодой человек, — говорил голос. — Я просил оценку, а не экспертизу происхождения вашей конторы.

Я поднялся по лестнице.

Штерн стоял у стойки в пальто, с шапкой в руке и с коробочкой, перевязанной ленточкой. Феликс смотрел на него спокойно, как смотрят на погоду.

— Аркадий Львович, — сказал я.

Он обернулся. Увидел меня. И в его лице что-то перестроилось — медленно, как перестраивается механизм, который давно не заводили.

— Тюрин, — сказал он. — Вы.

— Я.

— Вы работаете в ломбарде.

— Я консультирую.

— По какому вопросу?

— По часам.

Штерн посмотрел на коробочку в своей руке, потом на меня, потом опять на коробочку.

— Это часы моего тестя, — сказал он. — «Заря», тысяча девятьсот семьдесят восьмой. Он их не любил, но носил, потому что они были подарком от министерства. Он был заместителем министра, — добавил Штерн, и в этом «заместителем» было столько всего, что я не стал уточнять.

— Мы их оценим, — сказал Феликс.

— Вы их уже оценили, — сказал Штерн. — Восемь тысяч.

— Это рыночная цена.

— Это оскорбление, — сказал Штерн. — Они стоили вдвое.

— Они стоили вдвое, — согласился Феликс, — когда стоил вдвое рубль.

Штерн открыл рот, чтобы ответить, и в этот момент увидел на верстаке, за приоткрытой дверью в подвал, хронометр.

Он замолчал.

Потом прошёл мимо стойки — не спросив разрешения, не обращая внимания на Феликса, — спустился по лестнице и остановился перед столом.

— Это тот самый, — сказал он.

— Тот самый.

— Девятнадцать минут сорок.

— Девятнадцать минут сорок.

Штерн наклонился. Потом, к моему изумлению, достал из кармана лупу — не очки, а именно лупу, старую, в оправе из рогового материала, — и стал смотреть на механизм через стекло задней крышки.

— Клейма подлинные, — сказал он через минуту. — Спираль... — он помолчал, — ...спираль не из этой эпохи.

— Что?

— Спираль новее. Её меняли. — Он выпрямился. — Значит, ход не родной. Значит, его регулировали. Значит, кто-то уже пытался его привести в порядок и не смог.

— И?

— И это значит, — сказал Штерн, — что прибор не врёт. Прибор делает то, что делает, а разница между тем, что он делает, и тем, что должен, — это не его вина.

Он сел на табуретку — тяжело, как садятся люди, у которых внезапно нашлось лишнее время.

— Покажите расчёты, — сказал он.

Я показал.

Он смотрел на график долго. Потом достал из внутреннего кармана ручку — тоже старую, тоже с историей, — и стал что-то считать на обороте квитанции. Считал он быстро, уверенно, как человек, который делал это миллион раз.

— Не сходится, — сказал он наконец.

— Не сходится.

— Четыре десятых — это не погрешность. Это член уравнения.

— Похоже на то.

— Это не может быть членом уравнения, — сказал Штерн. — Для члена уравнения нужна модель.

— У нас нет модели.

— У нас есть модель, — сказал Штерн. — У нас есть моя модель. И она даёт ноль.

Он посмотрел на меня поверх лупы.

— А ваш прибор даёт четыре десятых. И ваш прибор — не мой прибор. Мой прибор — это то, что я тридцать лет защищал на всех комиссиях, которые у меня были. А ваш — это железо, которое лежит на столе в ломбарде, и я не могу позволить, чтобы железо из ломбарда говорило мне, что я ошибался.

Он встал и пошёл к лестнице. На середине остановился.

— Кирюша.

— Да.

— Вы когда-нибудь видели, как человек всю жизнь строит дом, а потом находит в фундаменте трещину?

— Нет.

— Я тоже, — сказал Штерн. — Но я примерно представляю, что он делает. Он вызывает специалиста. И потом всю жизнь ненавидит специалиста.

Он поднялся наверх. Через минуту хлопнула дверь.

Феликс спустился и посмотрел на меня.

— Это кто?

— Мой заведующий.

— Он вам не друг.

— Он мне не враг, — сказал я. — Это хуже.

— Почему хуже?

— Потому что враг хотя бы понятно чего хочет.

Феликс подумал.

— А он чего хочет?

— Чтобы я ошибся, — сказал я. — И чтобы я это сделал сам, а не он мне это сказал.

По дороге домой я заехал в институт.

Было начало девятого, в коридорах горела каждая третья лампа, и на вахте сидел не Зинаида Павловна, а молодой охранник, который смотрел в телефон и на меня посмотрел только затем, чтобы убедиться, что я не несу стул.

Нина Сергеевна уже ушла. Ключ от склепа висел на гвозде за её столом, и я взял его без спроса — в институте это называлось «взять по-научному».

В склепе было холодно и тихо. Эталон стоял в углу, накрытый чехлом, и чехол был похож на человека, который устал стоять.

Я достал журнал семьдесят четвёртого, нашёл сверку, потом журнал восемьдесят девятого, потом две тысячи третьего, и на этот раз считал не расхождение, а разницу между расхождениями.

Четыре десятых секунды в сутки.

За пятнадцать лет — это тридцать шесть минут с небольшим.

Я проверил. Разница между сверкой семьдесят четвёртого и сверкой восемьдесят девятого была тридцать шесть минут двенадцать секунд.

Я сидел и смотрел на эти цифры, и в голове у меня было очень тихо — так тихо, как бывает, когда в комнате выключают холодильник и ты вдруг слышишь собственное дыхание.

Тридцать шесть минут за пятнадцать лет. Четыре десятых в сутки. Пять приборов, сделанных в пяти эпохах, с одинаковым остатком. Часы, которые уходят вперёд, — все до единого.

Это была не ошибка.

Это был фон.

— Так, — сказал я вслух. — Значит, вы не врут. Вы показываете.

Эталон в углу молчал.

Я взял лист и написал:

«Если 0,4 с/сутки — это не погрешность прибора, а свойство времени, то любой прибор, который идёт достаточно долго, покажет это же. И тогда любая поправка на дрейф — это не калибровка. Это перевод единиц».

Потом посмотрел на написанное и добавил одну строчку, которую потом вычеркнул, но запомнил:

«Перевод единиц из времени в расстояние».

Сноска о том, как измеряют то, чего не понимают. Сначала замечают, что стрелка уходит. Потом — что уходит всегда в одну сторону. Потом — что уходит одинаково у всех приборов. Потом строят график. И только в самом конце, глядя на график, понимают, что все эти годы измеряли не прибор. Они измеряли дорогу.

Домой я вернулся в десять.

Кот сидел на подоконнике, рядом с секундомерами, и смотрел на улицу.

— Я вернулся, — сказал я.

Кот не повернулся.

— Я был на работе.

Кот не повернулся.

Я сел за стол, открыл блокнот и записал то, что весь день крутилось у меня в голове и не желало складываться в слова:

«Пять приборов. Пять эпох. Одна ошибка. Если это не совпадение, то у времени есть фон. Как у рад

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.